

ЧУЖОЙ МИР. ЧУЖИЕ ПРАВИЛА. ОДНА ЦЕЛЬ.
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ.



СКОРО БУДУ

ДОМА

Том I: ГНЕВ

Тёмное фэнтези • попаданцы • LitRPG



ADAM WALKER

18+

Adam Walker

Скоро буду дома

«Автор»

2026

Walker A.

Скоро буду дома / А. Walker — «Автор», 2026

В то утро Адам был счастлив и не знал, что видит свою семью в последний раз. Жена, маленький сын, недопитый кофе, обещание скорого возвращения — всё это осталось за дверью, которую он закрыл собственной рукой. Через несколько минут его жизнь закончилась. А новая началась под чужим небом, в мире, где нет солнца, нет милосердия и нет дороги домой. Здесь правит Система. Здесь у тварей есть уровни, у людей — разряды, а за силу платят болью. Адам не знает, кто перенёс его сюда и зачем. Не знает, можно ли вообще вернуться назад. Но он знает одно: дома его ждёт сын, которому он пообещал вернуться. И если между ним и домом стоит чужой мир — он пройдёт через него. Если стоит смерть — он победит её снова. Если стоит сама Система — он заставит её открыть дверь. «Скоро буду дома. Том I: Гнев» — тёмное фэнтези с элементами LitRPG о потере, ярости, силе и обещании, которое нельзя нарушить.

Содержание

Глава 1. Последнее утро	5
Глава 2. Чужое небо	11
Глава 3. Первая тварь	14
Глава 4. Это не сон	17
Глава 5. Ярость и клятва	20
Глава 6. Первые правила	23
Глава 7. Грейфолл	26
Глава 8. Серый грифон	29
Глава 9. Гильдия искателей	32
Глава 10. Дорн	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Adam Walker

Скоро буду дома

Глава 1. Последнее утро

У счастья нет вкуса, пока оно при тебе. Его узнаёшь только потом — по форме пустоты, которую оно после себя оставляет.

В то утро я ничего такого не чувствовал. Я был просто счастлив — бездумно, до краёв, как бывает счастлив человек, у которого всё на своих местах и который ещё не знает, что в одночасье он может всего этого лишиться.

Я расскажу про это утро подробно, до последней мелочи. Не потому, что в нём случилось что-то важное, — наоборот, потому что не случилось ровным счётом ничего. Это было самое обычное утро на свете. Просто оно оказалось последним, и теперь это всё, что у меня от той жизни осталось. И если вы не проживёте его со мной, минуту за минутой, вы не поймёте, что у меня потом отняли. А без этого и всё остальное не будет иметь смысла.

Так что потерпите. Дайте мне побыть там ещё раз.

Разбудил меня не будильник, а свет.

Мира с вечера снова не задёрнула шторы. Она забывала об этом каждый день, а я каждый день собирался напомнить — и за восемь лет так ни разу и не напомнил, потому что мне, если честно, нравилось просыпаться вот так: от того, что солнце легло поперёк кровати и нагрело одеяло. Полоса света падала на её плечо, и плечо было тёплым, когда я положил на него ладонь.

Она спала на животе, лицом ко мне, занимая, как всегда, чуть больше своей половины — за восемь лет я смирился с тем, что во сне Мира потихоньку завоёвывает кровать, как маленькая ленивая армия. Во сне у неё было лицо, которого днём не видел никто, кроме меня. Днём она была собранной, насмешливой, быстрой на язык, и подчинённые в её отделе побаивались её утреннего взгляда. А сейчас всё это сходило с неё, как грим, и оставалась просто девочка, какой она была, наверное, лет в двадцать, когда я её ещё не знал. Беззащитная. Чуть приоткрытый рот. Веснушки, которых к лету всегда прибавлялось.

Я лежал и смотрел на неё дольше, чем стоило. До работы оставалось ровно столько, чтобы успеть, если не разлёживаться. Я разлёживался.

Большим пальцем я по привычке повернул кольцо на безымянном — туда-сюда, движение, которого сам не замечал, такое же бессознательное, как дыхание. Простой ободок, внутри стёртый до блеска за восемь лет. Мира однажды сказала, что по этому блеску можно сосчитать, сколько раз я о ней подумал, — и засмеялась, довольная собой. Я тогда отшутился, что просто кольцо дешёвое и металл мягкий. Но снимать его я не снимал никогда. Ни в душе, ни в спортзале, ни во сне.

— Ты опять на меня смотришь, — сказала она, не открывая глаз.

— С чего ты взяла.

— Я чувствую. У меня от твоего взгляда левая щека чешется. — Она наконец приоткрыла один глаз, мутный со сна. — Который час?

— Рано ещё. Спи.

Она не стала спать. Она подтянула под себя подушку, придвинулась — медленно, тяжело, не просыпаясь до конца, — и уткнулась лбом мне в грудь, в то самое место, куда утыкалась всегда, будто его под неё там и выточили. Я почувствовал её дыхание сквозь футболку. От неё пахло сном и чуть-чуть вчерашними духами.

— Полежи ещё минуту, — пробормотала она мне в грудь.

— Опоздаю.

— Минуту, — повторила она тем особым тоном, против которого я за восемь лет так и не нашёл приёма.

Я лежал минуту. Потом ещё одну. Потом ещё.

Если бы я знал, я бы лежал так до скончания времён. Я бы не вставал вовсе. Я бы остался в этой тёплой полосе света, с её лбом у себя на груди, навсегда, и пусть бы весь остальной мир катился куда угодно.

Но я не знал. Поэтому в конце концов я осторожно высвободился, поцеловал её в макушку и встал.

— Предатель, — сказала она в подушку, уже снова уплывая в сон.

— Кофе сделать?

— М-м-м, — что на её языке означало «да, и принеси, и вообще будь хорошим». Я знал этот язык наизусть.

Лео не спал.

Я понял это ещё из коридора — по тишине. У трёхлетнего ребёнка тишина никогда не означает, что он спит. Тишина означает, что он чем-то занят, и обычно таким, после чего придётся отмывать стену, или собаку, или себя.

Я заглянул в гостиную. Он сидел на полу в одной пижаме с верблюдами — пижаму с верблюдами он требовал уже третью неделю и снимать отказывался, мы стирали её по ночам, — и строил из деревянных кубиков башню. Башня была выше него самого. Она кренилась под немыслимым углом, нарушая, кажется, все законы, какие есть, и всё-таки стояла, держась на одном честном слове и упрямстве моего сына.

— Папа, — сказал он, не оборачиваясь, деловым тоном, каким докладывают коллеге о ходе важного проекта. — Смотри. Высокая.

— Очень высокая, — согласился я и присел рядом на корточки. — Как ты её вообще не уронил?

— Я ей сказал не падать, — объяснил Лео так, будто это очевидно. — Она слушается.

— Понятно.

— А твоя бы упала, — добавил он, без злорадства, просто констатируя превосходство своей инженерной школы над моей.

— Наверняка.

Он наконец повернулся ко мне, и я увидел, что одну щёку ему пересекает красная полоса от подушки, а волосы на затылке стоят торчком, как у воробья. От него пахло сном и тёплым хлебом — тот запах детской макушки, который ничем не подделаешь и который я узнал бы среди тысячи других. Я мог бы вычленить его в толпе, в темноте, где угодно. Так пахло самое дорогое, что у меня было.

— Пап. — Он подобрался ближе, понизив голос до заговорщицкого. — А мы скоро на море?

Море. Опять море.

Мы собирались отвезти его к морю этим летом. В первый раз. Он никогда его не видел — только на картинках в книжке, — но с тех пор, как мы при нём об этом заговорили, море поселилось у него в голове и больше оттуда не выходило. Он спрашивал про него по десять раз на дню. Он был твёрдо уверен в нескольких вещах: что море — это очень большая ванна; что в нём живут рыбы, с которыми нужно непременно поздороваться за руку; и что туда надо взять его жёлтое ведёрко, без которого никакого смысла в море нет. Ведёрко он на всякий случай уже держал под кроватью. До лета было ещё три месяца.

— Скоро, — сказал я. — Летом поедem. Я же обещал.

— А летом это когда?

— Когда станет тепло-тепло. Когда листья большие. Помнишь, я показывал?

Он насупился, переваривая эту абстракцию — «летом» для него было такой же неуловимой штукой, как для меня вечность, — а потом вдруг просиял, потому что нашёл решение всех проблем:

— А давай сегодня.

— Сегодня папа на работу.

— А не ходи на работу.

И вот тут, скажу честно, в первый и единственный раз за то утро во мне что-то слабо дрогнуло — какой-то глупый, беспричинный укол, на который я не обратил внимания. «А не ходи на работу». Я засмеялся и сгрёб его в охапку.

— Кто же тогда заработает тебе на ведёрко? — Я поднял его, и он привычно повис у меня на руках всем своим небольшим, доверчивым весом, тёплый со сна. Башня от движения воздуха покачнулась — и наконец рухнула, рассыпавшись по полу. Лео даже головы не повернул. Башни его в эту секунду не интересовали. Его держал отец, а это было важнее всех башен на свете.

— Ещё, — потребовал он. На его языке это значило «подбрось».

— Один раз. Я опаздываю.

Я подбросил его один раз. Потом, конечно, ещё четыре, потому что он заливался при этом тем захлёбывающимся, визгливым смехом, от которого у меня в груди каждый раз что-то отпускало — какой-то узел, о котором в остальное время я даже не вспоминал. Ради этого смеха я подбросил бы его сто раз. Тысячу.

Я не знал, что у меня осталось четыре.

На кухне Мира уже стояла у плиты, завернувшись в мою старую растянутую рубашку, которую она давно присвоила, и волосы у неё жили собственной утренней жизнью. Кофе она всё-таки сделала сама, не дождавшись моего, — и теперь у нас было две чашки, и это означало маленькую семейную войну за то, чью пить.

— Я обещал тебе кофе, — сказал я.

— Ты обещал двадцать минут назад. Я состарилась и сварила сама.

— Тогда отдай мою, раз у тебя своя.

— Это и есть твоя. Я свою уже выпила.

Это была неправда, и мы оба это знали, и это была одна из тысячи мелких глупых игр, из которых на самом деле и состоит брак, — не из больших слов, а вот из этого, из утренней возни за чашку. Мы пили этот кофе вдвоём из одной чашки, передавая её туда-сюда, стоя у окна, пока Лео под столом возился и пыхтел у нас под ногами.

— Не забудь, в субботу мои родители, — сказала Мира.

— Помню.

— Не помнишь. Но теперь, когда я сказала, будешь помнить.

— Твой отец опять привезёт ту свою наливку?

— Привезёт. И ты опять скажешь, что это лучшая наливка в твоей жизни, потому что хочешь дожить до воскресенья.

— Я скажу это, потому что это правда, — соврал я, и она фыркнула в чашку.

Снизу, из-под стола, раздался голос Лео, приглушённый и важный:

— А мама знает про море?

— Знает, — сказала Мира, наклонившись и заглянув под стол. — Мама всё про море знает. Мама знает даже, что кое-кто не хочет надевать другую пижаму.

— Эту, — донеслось из-под стола непреклонно.

Мира посмотрела на меня поверх чашки, и в её глазах была та усталая, полная, ничем не омрачённая нежность, которая и есть, наверное, главное, что бывает между двумя людьми,

прожившими вместе достаточно долго. Не страсть. Не буря. А вот это — двое взрослых, ребёнок под столом, одна чашка на двоих, обычное утро вторника, и ничего больше не нужно.

Вот чего никто не говорит про обычную жизнь: что она и есть всё. Что вот это — горячая чашка, чужая нога под столом, спор про наливку — и есть то единственное, ради чего стоит вообще жить. Просто пока ты внутри, тебе кажется, что это черновик. Разминка перед чем-то настоящим, которое ещё впереди. Тебе кажется, у тебя ещё уйма времени.

Мне повезло, что я понял это вовремя.

И страшно не повезло, что «вовремя» обернулось «слишком поздно».

У двери всё было как всегда.

Я натянул куртку, подхватил ключи. Мира вышла меня проводить, как выходила каждое утро, — не потому, что так надо, а потому что мы оба ещё не разучились этому за восемь лет.

Я поцеловал её — не наспех, не дежурно, а как следует, и она на секунду поймала меня за воротник, удерживая. От неё пахло кофе. Я подумал — не словами, а всем телом сразу: вот сюда я и возвращаюсь каждый вечер. Вот он, мой дом. Не стены. Вот эта женщина в моей старой рубашке.

— Купи по дороге хлеб, — сказала она. — Чёрный.

— Куплю.

Я присел и обнял Лео. Он обхватил мою шею обеими руками и сжал из всех своих небольших сил — и, как всегда, держал на секунду дольше, чем я успевал к этому приготовиться. От него снова пахло тёплым хлебом.

— Когда ты придёшь? — спросил он мне в шею.

— Скоро, — сказал я. — Скоро буду дома.

Я говорил это каждое утро. Это была даже не фраза — так, присказка, мелкая монета, которую отдаёшь не глядя. Скоро буду дома. Триста раз в год. Тысячи раз за жизнь. Я был так уверен в этих словах, что не дал им никакого веса.

— А на море скоро? — не отпускал он.

— И на море скоро. Летом. Обещаю.

— Честно-честно?

— Честно-честно.

Я разжал его руки, поставил на пол, потрепал торчащие на затылке волосы. И уже у самой двери услышал за спиной голос Мира — негромкий, привычный, такой же будничным, как всё в это утро:

— Люблю тебя.

— И я, — сказал я, не оборачиваясь, потому что и так знал её лицо наизусть, потому что впереди было ещё пятьдесят лет, чтобы оборачиваться.

Дверь закрылась. С той стороны её закрыл я — сам, своей рукой.

Это были последние слова, которые я ей сказал. «И я». Даже не целиком. Даже не «и я тебя люблю». Просто «и я», на бегу, через плечо, не глядя.

Если бы я знал, я бы обернулся. Я бы вернулся, бросил ключи, обнял их обоих и не выпускал. Я бы сказал ей все слова, какие есть, и придумал бы новые. Я бы остался.

Но я не знал. Поэтому я просто пошёл к лифту.

Дорога была пустая и обычная.

Я вёл машину и ни о чём не думал — то есть думал обо всём сразу, тем ровным фоновым гулом, что у взрослого человека заменяет тишину. О совещании в одиннадцать. О том, что надо ответить на письмо, которое висело со вчера. О том, что Лео с утра был тёплый, не разболелся бы перед поездкой. И ещё — об одном своём маленьком тайном плане, от которого мне было хорошо.

Я собирался сегодня в обед всё-таки заказать ту поездку к морю. Не летом — раньше. На майские. Хороший отель, прямо у воды, чтобы Лео мог со своим жёлтым ведёрком хоть с утра до ночи. Я хотел сделать им сюрприз: прийти вечером и сказать как бы между прочим — собирайте чемодан, едем через две недели. Я уже представлял лицо Лео. Представлял, как Мира скажет: «Ты с ума сошёл, у меня отчёт», — а сама полезет искать его панамку.

Я вёл машину, думал об этом и улыбался. Радио бубнило про погоду. Солнце било в зеркало. Во мне стояла та спокойная, ничем не заслуженная утренняя уверенность человека, у которого впереди ещё лет пятьдесят таких же утр.

Я уже почти доехал, когда из ниоткуда вынырнула машина.

Именно из ниоткуда. Секунду назад в правом ряду было пусто — я только что глянул в зеркало, за это я ручаюсь, — а теперь она уже здесь: тёмная, без номеров, режет мне путь так близко, что в её стекле я вижу не салон, а собственное отражение.

Тело сработало раньше головы. Влево, поймал занос, выровнял, дождал, отпустил, поймал снова — всё за те доли секунды, в которые не помещается даже страх. Взвизгнули шины. Мир качнулся и встал на место. Машина удержалась на дороге. Я остался жив.

А тёмная машина исчезла. Ни впереди, ни в зеркалах — будто её и не было вовсе.

Сердце колотилось где-то под горлом, ладони взмокли, и я коротко, зло рассмеялся — тем нервным смешком, которым тело сбрасывает не пригодившийся адреналин. Пронесло. Лихач какой-то. Я даже толком не успел разозлиться — только подумал, что вечером расскажу Мире, и она спросит: «Ты цел?», а я отвечу: «Цел». И умолчу про море, чтобы сюрприз не испортить.

Часы на панели показывали 8:14.

Они показывали 8:14 и минуту спустя. И ещё через минуту. Краем сознания я это отметил — и тут же забыл, потому что в груди у меня в этот самый миг что-то сдвинулось.

Сначала это было не похоже на боль.

Скорее так, будто кто-то очень спокойно, без злобы, изнутри положил мне ладонь на сердце и начал сжимать. Не рвать, не колоть — просто сжимать, медленно, с тем равнодушным усилием, с каким закручивают кран.

С сердцем у меня всё было в порядке. Мне было тридцать пять. По выходным я бегал. Три месяца назад я прошёл обследование, и врач, скучая, сказал, что я его сегодня разочаровал — всё в норме. Здоровые тридцатипятилетние мужчины не умирают по дороге на работу. Это я знал твёрдо.

Знание не помогло.

Левую руку отняло до локтя. Воздух перестал доходить. Я попробовал вдохнуть — и не вспомнил, как это делается, будто кто-то стёр инструкцию. Всё перед глазами стало разом слишком ярким и слишком далёким. Руль поплыл под пальцами.

И вот тогда, в последнюю ясную секунду, я понял.

Не «кажется». Не «что со мной». А сразу и целиком, с той страшной трезвостью, которая приходит, когда отрицать уже нечем: я умираю. Сейчас. На этом куске обычной дороги, обычным утром вторника, в восьми минутах от дома.

И первой пришла не боль и не страх.

Первой пришла мысль о них.

Нет. Не сейчас. Не так. У меня хлеб не куплен. У меня сюрприз не заказан. Лео ждёт море, я обещал, я сказал «честно-честно». Мира думает, что я приду вечером, что я приду, как приходил тысячу раз. Лео будет стоять у двери и спрашивать, когда папа. И никто им не скажет. Никто не успеет ничего объяснить трёхлетнему про дверь, которую утром закрыл за собой папа. Отпусти. Кто бы ты ни был, кто бы это ни делал, отпусти, дай мне доехать, дай мне вечер, дай мне хотя бы попрощаться, у меня там —

Машину повело. Столб вырос в лобовом стекле буднично и быстро, словно стоял тут всегда и только и ждал.

Испугаться удара я не успел. Успел только одно — в последний миг сгрести их всех в охапку и прижать к себе. Не руками — памятью. Лицо Миры, тёплое плечо, веснушки, запах детской макушки, жёлтое ведёрко под кроватью, кольцо, стёртое изнутри. Всё разом, как выхватывают ребёнка из воды.

А потом был свет — очень белый, без вкуса и без звука.

А потом не стало ничего.

Я обещал ему, что скоро буду дома.

Глава 2. Чужое небо

Первым вернулся холод.

Ещё не открыв глаз, ещё не вспомнив ничего, я потянулся за теплом — туда, где должно было лежать одеяло, где должно было быть плечо Миры, тёплое под моей ладонью. Тело сделало это само, по привычке восьми лет: на исходе ночи подгрести к себе её, спящую. Так началось каждое моё утро.

Ладонь легла на мокрую землю.

Не на простыню. Не на тёплую кожу. На холодную, склизкую землю, и пальцы сами собой сжались, набрав горсть прелой грязи и каких-то корешков. Под щекой было жёстко. В нос лез запах — не запах дома, не запах сонной Миры и не запах тёплого хлеба от макушки Лео, а гнилой, сырой, лесной дух прели, мокрой коры и ещё чего-то незнакомого, сладковато-горького, чему у меня не нашлось названия.

Я не открывал глаз. Пока глаза закрыты, можно ничего не решать. Можно ещё несколько секунд верить, что под рукой сейчас окажется тёплое плечо, а не эта мерзлая земля.

Я попробовал собрать, что помню.

Последнее было белым. Свет без вкуса и без звука. А перед ним — столб в лобовом стекле; ладонь, сжимавшая сердце изнутри; и они, схваченные в последний миг и прижатые к себе, всё разом. А ещё раньше — дверь, которую я закрыл за собой сам. «И я», брошенное через плечо. Жёлтое ведёрко под кроватью. «Скоро буду дома».

Между «скоро буду дома» и этой мокрой землёй под щекой не было ничего. Пустота. Память упиралась в белый свет, как в стену, и за стеной не лежало ровным счётом ничего.

Авария, сказал я себе. Я в больнице. Это логика была так себе, но другой у меня не нашлось, и я вцепился в неё обеими руками. Меня вытащили. Я в реанимации, под капельницей, опутанный трубками, и всё это — холод, и грязь, и гнилой запах — морок, который крутит мозг под наркозом. Сейчас я открою глаза и увижу белый потолок. И трещину на нём, которую буду разглядывать ещё долгие недели, пока буду срастаться. И Мира будет сидеть рядом и держать меня за руку, и я скажу ей, что мне снилась какая-то дрянь, лес и холод, и она засмеётся и скажет, что я всегда сплю как убитый.

Я открыл глаза.

Надо мной было небо. И это было неправильное небо.

Я смотрел в него, наверное, целую минуту, не понимая, что именно не так, — а потом понял всё сразу. Цвет. Цвет был не тот. У края, над зубцами деревьев, небо было бледно-зелёным, болезненным, как несвежая вода в банке из-под краски. Кверху оно густело, темнело до глухого, винного, почти бурого. По нему медленно тянулись облака, которых не бывает, — длинные, перистые, и каждое будто светилось изнутри слабым перламутром, как нутро раковины. Света было ровно столько, сколько бывает в пасмурный полдень, но шёл он ниоткуда и отовсюду сразу. Не было солнца. Не было теней.

И вот тут первый по-настоящему холодный укол прошёл во мне уже не снизу, от земли, а изнутри.

Потому что я понял: это не наркозный бред. Бред так не выглядит. У бреда нет этой въедливой, мелочной, бесконечной достоверности. Мозг ленив, он рисует общими мазками, ему некогда выписывать каждую прожилку на каждом листе, каждую каплю на каждой травинке. А здесь всё было выписано. До последнего волоска. Так не снится. Так бывает только наяву.

Я сел.

Точнее — меня подбросило.

Я хотел приподняться осторожно, опираясь на руки, нащупывая, как после долгого лежания, где у меня тело. А оно вместо этого швырнуло меня вверх одним движением, разом, легко

и страшно, будто во мне распрямилась стальная пружина, о которой я не подозревал. Я качнулся и едва не повалился обратно — не от слабости, а от избытка, от того, что силы оказалось куда больше, чем нужно на простое «сесть».

Несколько секунд я стоял на четвереньках, не шевелясь, и слушал себя.

Тело было моё. Вот это пугало в первую очередь — оно было до мелочей моим. Я узнал руки. Узнал тонкий белый шрам на костяшке — память о давней, глупой драке в студенчестве. Я был в своей одежде: в той самой рубашке, которую Мира утром на секунду поймала за воротник у двери; на ней даже осталось крошечное пятнышко от кофе, которое я посадил за завтраком. Те же ботинки. И кольцо на безымянном — стёртое изнутри до блеска, тёплое от моего тела.

Я смотрел на это кольцо, и в горле встал ком, потому что оно было настоящее. Оно было оттуда. С того утра, из той кухни, из той жизни. Среди всего этого чужого холода оно одно осталось правдой, единственная ниточка, протянутая в дом, и я вдруг испугался, что и оно сейчас растает.

Я повернул его большим пальцем, как делал тысячу раз. Оно не растаяло. Оно было тут.

Но под кожей этого знакомого, до боли знакомого тела что-то гудело. Тихо, ровно, без перерыва — как ток в проводе, как сила, которой некуда деться. Я медленно сжал кулак.

И едва успел остановить себя.

Пальцы вошли в землю по второй сустав, без всякого усилия, как в подтаявшее масло. Я их выдернул. На ладони осталась чёрная вязкая грязь и обрывки корней — толстых, в палец, перебитых так легко, будто это были нитки.

— Так, — сказал я вслух.

Голос прозвучал чуждо, слишком громко, и тут же увяз в тишине без следа, как камень в снегу. И от звука собственного голоса мне стало только хуже, потому что я понял, что тишина вокруг тоже неправильная. Она была не пустая, а полная. Где-то очень далеко, на самом краю слышимого, перекликались голоса — низкие, протяжные, тягучие, ни птичьи, ни звериные ни на что земное. Лес был полон жизни. Просто эта жизнь была не наша.

Я встал на ноги — на этот раз медленно, нарочно медленно, придерживая силу, как придерживают рвущийся с поводка груз.

Лес стоял вокруг сплошной стеной.

Деревья были не деревья. То есть деревья — ствол, крона, ветви, — но не той породы, какую можно встретить хоть где-то дома: слишком высокие, в три, в четыре обхвата, с чёрной, почти угольной корой, в трещинах, куда поместилась бы рука. Наверху листва смыкалась в плотный полог, и оттуда сеялся тот самый ровный свет ниоткуда. Под ногами лежал мох и стоял папоротник мне по грудь. И всё это было крупнее, чем привык глаз, на ту неуловимую долю, от которой делается не по себе, — будто я уменьшился. Или будто всё вокруг выросло мне назло.

Я стоял посреди этого леса и заставлял себя дышать ровно.

— Эй! — крикнул я. И ещё, громче: — Есть тут кто-нибудь?!

Лес проглотил мой крик и не вернул даже эха.

А я едва не позвал — их. По именам. Слова уже поднялись к горлу: Мира. Лео. Будто они могли быть здесь. Будто, если позвать погромче, из-за чёрного ствола выйдет моя жена в моей старой рубашке, скажет «ну ты и спишь», и всё это окажется глупой шуткой. Я закусил это в себе. Звать их здесь было всё равно что звать мёртвых — и от того, как точно эта мысль легла, у меня по спине прошёл холод.

Я заставил себя думать. Думать — это единственное, что я всегда умел лучше прочего; так я зарабатывал на жизнь, так я, в общем-то, и жил. Когда мир ломался, я раскладывал его на части и собирал заново. Я попробовал и сейчас.

Что я знаю. Я помню свою смерть — или то, что было очень на неё похоже. Я очнулся неизвестно где, в теле, которое стало чужим. Версия первая: я сошёл с ума, и всё это рисует мой

мозг. Против — слишком много правды вокруг, безумие так не детализирует. Версия вторая: это последняя вспышка умирающего мозга, тот самый миг, который, говорят, растягивается в целую жизнь. Против — в этом миге мёрзнут ноги, болит набитое корнями колено и хочется по-человечески есть; так миги не тянутся. Версия третья...

Третью я уже думал в лесу, на этой самой земле, и не хотел думать снова, но она пришла сама, простая и тяжёлая: а что, если всё ровно так, как кажется. Что, если я умер по-настоящему, там, в восьми минутах от дома, под белым светом без звука. И теперь я где-то ещё. И «где-то ещё» — это вот этот лес под винным небом.

Я стоял с этой мыслью, и она давила всё тяжелее, и я знал, что ещё немного — и она меня раздавит совсем. Но раздавить себя я пока не дал.

Потому что в этот самый момент у самого края зрения что-то мигнуло.

Я дёрнул головой — оно сместилось вместе со взглядом, осталось на краю, как соринка, которую не моргнуть. Тонкие строчки холодного света. Будто кто-то изнутри моего собственного глаза выводил светящиеся значки — острые, ломаные, не похожие ни на одну азбуку, какую я знал. И всё же я их читал. Не разбирал по буквам — понимал прямо, сразу, минуя глаза, словно смысл вкладывали мне в голову, не спросясь.

Я замер, боясь моргнуть.

Строчка дрогнула, поплыла, стала собираться во что-то — в слово, в имя, в приговор, я не знал, но всем нутром почувствовал, что вот сейчас она договорит. Назовёт меня. Объяснит. Скажет наконец, где я и что со мной, —

и в этот самый миг земля под ногами дрогнула.

Не от строчки. От шага.

Совсем близко, за стеной чёрных стволов, что-то большое перенесло вес с одной ноги на другую. Длинно, влажно хрустнул валежник — так ломается толстая кость. Низкий гул прошёл по воздуху и отдался у меня в груди, в той самой точке, куда восемь лет утыкалась лбом Мира.

Светящаяся строчка погасла, недосказанная.

Я очень медленно повернулся на звук.

И там, между деревьями, в зелёном сумраке, на меня уже смотрело что-то, чему я тоже не знал названия.

Глава 3. Первая тварь

Мы смотрели друг на друга, наверное, секунды три. Для меня они растянулись надолго.

Тварь стояла в зелёном сумраке низко, припав к земле на четырёх лапах, и была размером с крупную собаку — но ни одна собака на свете так не выглядит. Серая шкура висела на ней клочьями, в проплешинах, и сквозь проплешины проступала сизая, как у утопленника, кожа. Морда была слишком длинной, вытянутой, и из неё в два ряда лезли тонкие зубы, которые не помещались во рту. Глаза были белёсые, без зрачков, два бельма, — и всё-таки она смотрела ими прямо на меня, очень внимательно, изучающе, так, как смотрят не на чужака, а на еду. От неё тянуло падалью — тяжёлым, сладким, тошнотворным духом, от которого сводило горло.

Я не двигался. Я плохо понимал, что вообще делают, когда на тебя так смотрят.

Утром — а это было, по моим ощущениям, несколько часов назад, не больше — я был самым безопасным человеком на свете. Самым крупным зверем в моей жизни был сосед, который по воскресеньям заводил триммер чуть свет. Я ни разу никого не ударил всерьёз, кроме той дурацкой студенческой драки, от которой остался шрам на костяшке, да и в той я больше получил, чем дал. Эти руки умели держать чашку, печатать, крутить руль и подбрасывать к потолку смеющегося ребёнка. Они не умели убивать. Я не умел убивать. Я даже мышь в мышеловке выносил во двор, потому что не мог смотреть.

А зверь напротив меня умел только одно. И смотрел на меня так, будто уже решил.

Я попятился — медленно, на полшага. Тварь повторила движение, тоже на полшага, держа между нами ровно то расстояние, с которого ей удобно будет прыгнуть. Я понял это не умом — телом. И вот тут оно и началось.

Я почувствовал это раньше, чем успел подумать: мышцы сами собой подобрались, развернулись под нужным углом, перенесли вес на чуть согнутые ноги — без меня, помимо меня, будто кто-то опытный встал у меня за спиной и тихо забрал управление. Сердце колотилось, во рту пересохло, разумом я был в ужасе и не знал, что делать, — а тело знало. Тело готовилось. И это напугало меня едва ли не сильнее самой твари. Своё тело должно слушаться. А это знало что-то, чего не знал я, и не спрашивало моего позволения.

Тварь прыгнула.

И в тот же миг прямо поверх неё, как тонкая светящаяся накладка на живом звере, проступили знакомые ломаные знаки — и сложились в смысл прежде, чем я снова успел их испугаться. Не буквами. Сразу значением, холодным и готовым, как ответ, который кто-то шепнул мне на ухо:

> ****Падальщик Предела · ур. 4**** > ****уязвимость: горловая складка****

И эту складку — мягкую, незащищённую, под вытянутой челюстью, там, где дряблая шкура собиралась в валики, — я увидел так ясно, будто её обвели светом. Будто весь зверь на долю секунды стал тусклым, неважным, и осталась гореть одна эта точка.

Но между «увидел» и «успел» лежала пропасть. Тварь была быстрая — быстрее всего, что я видел в жизни, серая молния с зубами, — и тело моё, при всей своей новой силе, было ещё неумелым, чужим, не привыкшим к самому себе. Я ушёл вбок, но недостаточно. Зубы лязгнули у самого горла, я отшатнулся — и когти задней лапы прошли по моему предплечью наискось, длинной полосой.

Рубашка лопнула. Кожа лопнула. И в первый раз за этот бесконечный день я увидел собственную кровь — красную, живую, человеческую, не ту чёрную, что текла из самой твари. Боль пришла с запозданием, тупая, далёкая, будто чужая, и сразу за ней — горячая, злая ясность.

Тварь приземлилась, развернулась для нового броска. И вот тут моё неумелое, испуганное «я» наконец просто отошло в сторону и дало телу делать своё.

Когда падалыщик прыгнул второй раз, я не стал уворачиваться. Я шагнул ему навстречу. Поймал в воздухе момент, когда он раскрылся, потянувшись зубами к лицу, — и рука сама пошла снизу вверх, к подсвеченной складке, коротко и страшно. Я не бил кулаком, не замахи-вался — я просто вложил в это движение всё то лишнее, что гудело во мне с самого пробуж-дения, всю чужую пружину разом.

В воздухе вспыхнуло и тут же погасло алое число.

Пальцы вошли под челюсть и не остановились там, где остановились бы у человека. Я почувствовал, как поддаётся, рвётся, как лопается внутри зверя что-то с глухим влажным трес-ком, — и падалыщика отбросило. Не отшвырнуло даже — выдернуло из воздуха и швырнуло о чёрный ствол в трёх шагах. Он ударился, сполз по коре и остался лежать, неловко подвернув лапы, и больше не шевелился. Из-под длинной морды на мох потекло тёмное.

Тишина вернулась мгновенно, будто и не уходила.

Я стоял, тяжело дыша, и смотрел на свою руку. На ту самую, что нанесла удар.

Костяшки были в тёмной, чужой крови. Чуть выше, на предплечье, наливалась моя соб-ственная — три ровные красные полосы от когтей. Та же рука. Тот же шрам на костяшке. То же кольцо, стёртое изнутри. Несколько часов назад эта рука держала под мышки моего сына, и он висел на ней, тёплый со сна, и хохотал, когда я подбрасывал его к потолку. А теперь с неё капала кровь твари, которой я только что проломил горло.

И пальцы не дрожали.

Вот что напугало меня больше всего. Не зубы, не прыжок, не рана, которую я даже толком ещё не чувствовал. А то, что после всего этого пальцы у меня были тверды, дыхание — почти ровным, а в голове — ясно и пусто. Человек, который впервые в жизни убил, да ещё голыми руками, должен трястись, сгибаться пополам, его должно выворачивать. А я стоял спокойно и разглядывал свою руку, как чужую.

И где-то на самом дне меня, под ужасом, под отвращением к этой падали, под жжением в распоротом предплечье, шевельнулось что-то ещё. Что-то тёплое и быстрое.

Мне было — и я возненавидел это слово раньше, чем оно во мне оформилось, — мне было хорошо.

Один короткий, гадкий миг. Так бывает хорошо телу, которое сделало то, для чего оно теперь годилось, и сделало это легко, без усилия, почти красиво. Та новая, чужая часть меня, что распрямлялась пружиной, осталась довольна. Ей понравилось. Она хотела бы ещё.

Меня замутило — не от вида крови, а от себя самого. Я согнулся и сплюнул горькой слюной на мох.

А когда разогнулся, утирая рот тыльной стороной здоровой руки, передо мной, ровно посреди зрения, спокойно и неотвратимо всплыла строка холодного света. Она не пряталась на краю, как раньше, не мигала. Она встала прямо, по центру, дождавшись, пока я договорю с собой, — будто всё это время вежливо ждала своей очереди:

> **Уровень повышен.**

Я смотрел на эти два слова, и мне делалось дурно.

Не от усталости. От смысла. Где-то здесь, под этим перламутровым небом без солнца, в этом лесу не-деревьев, велась запись. Кто-то — или что-то — считало. Я впервые в жизни убил живое существо, проломил ему горло голой рукой, стоял над ним с чужой кровью на пальцах и со своей кровью на руке, и меня выворачивало от самого себя, — а невидимая рука тут же спокойно поставила галочку в невидимой ведомости и сообщила мне, мягко и почти одобрительно: молодец. Подрос. Так держать.

Я попятился от строки, как пятятся от чего-то нечистого. Она, конечно, отступила вместе со мной, оставшись на том же месте перед глазами. Терпеливая. Аккуратная. Довольная мной.

И вот тут до меня наконец начало доходить — по-настоящему. Не списком версий, не «допустим, что», не умом. Животом. Костями. Той точкой под грудиной, куда восемь лет утыкалась лбом Мира.

Это не сон. Я уже знал это умом, ещё там, перебирая версии. Но знать умом и знать вот так, нутром, стоя над убитой тварью с её кровью на руках, — две разные вещи. Сейчас я узнал нутром.

Это всё взаправду. Этот лес. Эта тварь. Эта кровь. И запись, которую кто-то ведёт, и похвала за то, что я хорошо убиваю.

Я попал в место, где убивают, чтобы жить. Где сильный ест слабого, а кто-то невидимый стоит над схваткой и ставит галочки. И это место только что заглянуло в меня — и нашло, что я ему вполне подхожу.

А оттуда, где меня ждали жена и сын, где остывал не купленный мной хлеб и стояло под кроватью жёлтое ведёрко, — оттуда меня сюда никто не приглашал. И обратно никто не повезёт.

Если я хочу домой, возвращаться придётся самому.

Глава 4. Это не сон

Дрожь пришла, когда всё кончилось.

Пока тварь рвалась ко мне, пока шёл бой, руки были тверды, как камень. А теперь, когда она лежала мёртвой у ствола и больше не из кого было выжимать ту чужую силу, сила схлынула, отлила, как отливает вода, — и меня начало трясти. Не от страха. Страх был там, в бою, и ушёл вместе с боем. Поднималось другое — то, что всё это время лежало под адреналином, придавленное им, и терпеливо ждало своей минуты.

Минута пришла.

Рана на предплечье, на которую я в драке не обратил внимания, теперь горела ровным жаром. Я опустился прямо там, где стоял, в истоптанный, забрызганный тёмным мох, рядом с остывающей тушей, прижал руку к груди и сидел так, баюкая её, как баюкают ребёнка, и тряся, и не мог остановиться.

Свет в небе не менялся. Он не шёл ни к закату, ни к рассвету — висел всё тот же ровный, рассеянный, перламутровый, будто здесь и не было никакого времени, один бесконечный больной полдень. Я сидел в этом полудне, маленький, окровавленный, посреди чужого леса, и медленно понимал, что остался один. По-настоящему один. Так, как не был один ни разу за тридцать пять лет.

Я был человеком, который привык всё решать.

Это даже не гордость, просто так сложилось. Когда у кого-то что-то ломалось — на работе, у родителей, у друзей, — звонили мне. Я раскладывал беду на части, находил, где слабое звено, выстраивал по порядку, что делать сначала, что потом, — и беда переставала быть бедой, становилась задачей, а задачи я шёлкал.

Я вспомнил, как пять лет назад у меня за полгода рухнуло всё разом. Проект, в который я вложил три года жизни, закрыли в один день. Меня вывели за дверь с коробкой бумаг, как выводят провинившегося, хотя я ничего не украл, кроме собственного времени. А через месяц слёг отец, и я мотался по больницам, выбивал врачей, платил, договаривался, держал на себе и его, и мать, и всё это — без работы, без денег, без понимания, что дальше. Тогда мне тоже казалось, что выхода нет. Но выход был. Он всегда был. Надо было просто сесть, разложить и найти первый ход. И я находил. Я всегда находил.

Я сел в чужой мох и по той же въевшейся привычке попробовал решить и это. Разложить. Найти звено. С чего начать.

И впервые за всю жизнь не нашёл ни одного хода.

Потому что задача была простая. Простая и окончательная, без лазеек. Я умер. Там, в восьми минутах от дома, под белым светом без звука, — умер по-настоящему, и никто меня не вытащил, и Мира не сидит у моей койки, потому что нет никакой койки и держать ей нечего. Меня там больше нет. И здесь, по-настоящему, тоже нет — есть кто-то с моим лицом и моим кольцом, сидящий в лесу, которого не существует.

А они остались.

И вот тут оно меня и накрыло. Не со стороны моей смерти — к ней я, как ни странно, был почти готов, она уже случилась, чего о ней горевать. Накрыло со стороны их жизни. Той, что покатится дальше без меня.

Я увидел это всё разом, ясно и подробно, так ясно, как «Анализ» высвечивал мне слабую складку на горле зверя.

Я увидел, как к нам домой приходят. Как звонят в ту самую дверь, которую я утром закрыл за собой сам, своей рукой, бросив через плечо «и я». Как Мира открывает — может,

ещё в моей старой растянутой рубашке, ещё с тёплой чашкой в руке, ещё ничего не зная. И как у неё меняется лицо. Я знал её лицо во всех видах, изучил за восемь лет, видел сонным, смеющимся, злым, мокрым от смеха, — но такого не видел никогда и был почти рад, что не увижу, потому что от одного воображаемого мне хотелось быть.

Я увидел, как её куда-то везут. Как ей показывают то, что осталось от меня и от машины у столба. Как она кивает. Подписывает бумаги. Едет домой в чужой машине, мимо булочной, где я должен был купить чёрный хлеб и не купил.

Я увидел субботу. В субботу к нам собирались её родители. Тесть должен был привезти свою наливку, а я — соврать, что это лучшая наливка в моей жизни, чтобы дожить до воскресенья. Теперь в субботу они приедут не на ужин. И никакой наливки. И я никогда уже не совру про неё, и не пойму только теперь, какое это было счастье — иметь возможность врать про тестеву наливку.

А потом я увидел Лео — и тут уже не выдержал совсем.

Лео, который утром, повиснув у меня на шее, спросил: «Когда ты придёшь?» И которому я ответил: «Скоро. Скоро буду дома». Я пообещал ему это в последний раз в жизни, на бегу, не придав словам никакого веса, — и теперь это «скоро» осталось последним, что он от меня услышал, и останется таким навсегда.

Он будет ждать. Дети умеют ждать — у них вся жизнь состоит из ожидания чего-то хорошего, что вот-вот случится. Он будет стоять у двери. Будет спрашивать у Миры, когда придёт папа, по десять раз на дню, как спрашивал про море. И она будет ему что-то отвечать — я не знаю что, нет на свете таких слов, которыми объясняют трёхлетнему, что дверь, в которую ушёл папа, больше не откроется.

А потом он перестанет спрашивать.

А потом — и это было хуже моей смерти, хуже той твари, хуже чего угодно — потом он меня забудет. Ему три года. От трёх лет в человеке не остаётся почти ничего, одни обрывки, тёплые пятна без имён. Я выветрюсь из него, как сон под утро. Он вырастет большим, сильным, хорошим — я почему-то точно знал, что хорошим, — и у него просто не будет отца, и он даже не вспомнит толком, чего лишился. Останется одна пустота в форме человека, которого он не помнит.

Море. Он так и не увидит со мной море. Жёлтое ведёрко будет стоять под кроватью, пока Мира однажды, через год или через три, не наткнётся на него, разбирая вещи, и не замрёт с ним посреди комнаты. Я обещал ему — «честно-честно». Я даже хотел сделать сюрприз, заказать поездку раньше, на майские; я думал об этом за рулём, я улыбался, идиот, за минуту до того, как у меня встало сердце. Я так и не закажу. Лео когда-нибудь, может, и поедет к морю — большой, без меня, — и не вспомнит, что один человек обещал отвести его поздороваться с рыбами за руку.

И ещё я подумал о том, чего не было силы думать, но я всё равно подумал.

Когда мне было совсем плохо — тогда, пять лет назад, без работы, с отцом в больнице, — я однажды сидел ночью на кухне в темноте, не зажигая света, и был совершенно уверен, что всё кончено, что я не вытащу, что я никчёмный, и проще не вставать с этого стула вообще. Я не плакал, я просто сидел, как выключенный. И Мира пришла. Не стала зажигать свет. Не стала меня уговаривать, что всё наладится, — она знала, что от этих слов в такие минуты только хуже. Она просто села рядом, на соседний стул, и взяла меня за руку, ту, на которой кольцо, и держала. Долго. Молча. А потом сказала одну вещь, всего одну: «Я никуда не денусь. Что бы ни было — я тут». И этого хватило. Не чтобы всё наладилось — наладилось оно потом, само, как всегда. А чтобы я встал с того стула.

Всю жизнь, когда я падал в самую тёмную яму, рядом оказывалась она и держала меня за руку, пока я не находил, на что встать.

А теперь я был в самой тёмной яме на свете. В чужом мире, рядом с убитой мной тварью, под небом без солнца. В такой яме, какой она и вообразить не могла.

И её рядом не было. И больше никогда не будет. Некому взять меня за руку. Некому сказать «я тут».

Вот тогда я и согнулся пополам прямо там, в мокром мху, и перестал держаться.

Не знаю, как это назвать. Это не были слёзы в том смысле, в каком плачут над фильмом или над разбитой чашкой. Это шло не из глаз — из живота, из той точки под грудиной, куда восемь лет утыкалась лбом Мира. Меня выворачивало горем, как несколько минут назад вывернуло от себя самого, только хуже, потому что от этого нельзя было сплунуть и встать.

Я звал их.

Я звал их вслух, по именам, в перламутровое небо без солнца. Мира. Лео. Я звал так, как не звал никого и никогда, — как зовут, уже зная, что не ответят, и всё равно зовут, потому что не звать невозможно. И небо не отвечало. И лес не отвечал. Где-то далеко, ровно и равнодушно, перекликались чужие голоса, которым не было до меня никакого дела. В этом было всё: моё горе здесь не весило ничего. Целый человек разваливался на части посреди этого леса — а лес даже не заметил. Ему было всё равно, как было всё равно той твари, для которой я был просто едой.

Сколько это длилось, я не знаю. Время стояло, и горе ходило по кругу вместе с ним, не убывая, накатывая снова и снова, и каждый раз казалось — вот сейчас совсем не станет сил, и я просто умру тут второй раз, теперь насовсем.

Но я не умер. Горе, как ни странно, не убивает. Оно просто выгорает.

Оно выгорело и во мне — не прошло, а именно выгорело дотла, как выгорает всё, чему перестают подкидывать топлива, и оставило после себя ту особую гулкую пустоту, которая страшнее самой боли. Я лежал на боку в чужом мху, рядом с убитой мной тварью, с подсохшей коркой её и своей крови на руке, и во мне больше ничего не было. Ни мыслей. Ни планов. Ни слёз. Выскоблено до самого дна.

Я смотрел перед собой, в переплетение чёрных корней, и не думал ни о чём.

И вот в этой пустоте, на самом дне, где уже не было ни горя, ни страха — потому что и того, и другого больше не из чего было брать, — что-то едва слышно шевельнулось.

Тихое. Холодное. Тяжёлое.

Оно не утешало и не грело. Оно просто опустилось на дно и легло там, ровно и плотно, как ложится камень, и от него по всей выскобленной пустоте медленно пошёл другой холод — не тот, земляной, что встретил меня при пробуждении. Этот шёл изнутри.

Я ещё не знал, как это называется. У меня не было сил даже спросить себя.

Я просто лежал, чувствуя, как оно во мне остывает и твердеет, и смотрел, как над лесом, впервые с моего пробуждения, медленно, еле заметно начинает меняться свет.

Глава 5. Ярость и клятва

Свет уходил.

Я лежал в мокром мху и смотрел, как он медленно гаснет, — тот ровный перламутровый свет, что лился ниоткуда с самого моего пробуждения. Он не уходил к закату, не собирался в одну сторону, как солнце у нас дома. Он просто оседал, тускнел, утекал отовсюду сразу, как утекает вода из ванны, и небо над чёрными кронами темнело — не до черноты, а до глубокого, чернильно-синего.

И в этом синем проступили звёзды.

Я смотрел на них долго, лёжа на спине, не в силах подняться, и искал хоть один знакомый рисунок. Ковш. Пояс Ориона. Хоть что-нибудь, на что можно опереться глазом, как опи-раешься на знакомое лицо в толпе. Я не нашёл ничего. Чужие созвездия стояли надо мной холодные, ровные, незнакомые, и среди них висели две луны: большая, бледная, в щербинах, и поменьше, рыжеватая, чуть поодаль, будто отставший ребёнок.

Две луны. Не одна. Этого было бы достаточно, даже если бы я ещё в чём-то сомневался: дом так далеко, что отсюда не видно даже его неба.

И вместе с этим в меня вошла простая мысль, которой я сначала не придал значения, а потом не смог отпустить.

Здесь идёт время.

Тот бесконечный полдень, что давил на меня весь день, был не свойством этого мира. Он был свойством моего горя. Пока я разваливался на части, мир жил своим чередом — и вот теперь спокойно гасил день и зажигал ночь, не дожидаясь, пока я доплачу. Ему не было до меня дела. Совсем.

И странно — именно это меня и начало поднимать. Не сразу. Но начало.

Потому что если идёт время, значит, можно что-то делать. А делать — это я умел.

Ночь в чужом лесу должна была меня доконать.

Я лежал на голой земле, без огня, без укрытия, в распоротой рубашке, и холод навали-вался такой, что у обычного человека к утру отнялись бы пальцы. Я с трудом сел — тело слу-шалось плохо, всё затекло, — оторвал от подола рубашки длинную полосу и перетянул ею рану на предплечье. Три когтистые борозды уже не кровоточили, подёрнулись тёмной коркой, и я мельком, краем сознания, отметил, что для такой раны это слишком быстро. Отметил и отло-жил. Не до того.

А потом я просто сидел, обхватив колени, и ждал, когда холод меня доконает.

Он не доконал.

Тело, которое весь день меня пугало, теперь меня берегло. Оно держало в себе тепло, ровно и упрямо, как держит жар остывающая печь, и я, в одной разорванной рубашке, под двумя чужими лунами, не дрожал. Я сидел и чувствовал, как во мне, на самом высокобленном дне, медленно остывает и твердеет то холодное и тяжёлое, что легло туда после того, как выго-рело горе.

И за эту долгую ночь, час за часом, у него появилось имя.

Это была злость.

Но не та горячая, мутная злость, которую я знал прежде, — не та, что вспыхивает, наго-ворит лишнего и проходит, оставив стыд. Эта была другой породы. Холодная. Ровная. Тяжёлая, как металл, залитый в форму и застывший. Она не кричала и не рвалась наружу. Она просто легла во мне фундаментом и сказала спокойно, без надрыва: хорошо. Раз так — хорошо.

Я долго не понимал, откуда она взялась, эта злость, — а под утро понял.

Это была моя любовь к ним. Та самая. Только ей больше некуда было идти.

Любовь живёт делом. Я любил их, держа на руках, целуя в макушку, передавая чашку, покупая хлеб, обещая море. А здесь не было ни рук, до которых дотянуться, ни макушки, ни хлеба, ни моря. Вся эта любовь осталась во мне целой, огромной, и ей нечего было делать — и она, не находя выхода, твердела, как твердеет на морозе вода, и становилась чем-то другим. Чем-то, что могло действовать даже здесь. Злостью. Волей. Решимостью вернуться во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило.

Я не перестал их любить. Я просто понял, что теперь моя любовь будет выглядеть вот так: не как нежность, а как лом, которым я буду проламывать стену между нами.

Когда небо снова начало светлеть — медленно, всё так же ниоткуда, — я сел ровно. И на этот раз тело послушалось без бунта и без избытка, точно, как нужно, будто за ночь мы с ним наконец договорились. Оно перестало быть чужим. Оно стало моим. Первым моим — здесь.

Я больше не отворачивался от строк холодного света. Весь день я гнал их, жмурился, пятился. Теперь я повернулся к ним сам.

— Покажи, — сказал я вслух, не зная толком, к кому обращаюсь. Голос был хриплый, чужой со сна и от вчерашнего крика. — Покажи, что я теперь такое.

И оно показало.

Передо мной развернулась не одна строчка, а целое полотно — спокойное, выстроенное, расчерченное, как анкета в отделе кадров у самой смерти:

> **Адам** > **Уровень:** 2 > **Происхождение:** — > **Класс:** не определён > **Отметка:** аномалия

Имя оно знало.

Это было первое, на чём споткнулся взгляд, и от этого по спине прошёл холодок. Откуда оно знало, как меня зовут? Я никому здесь не называл себя. Я отложил этот вопрос на потом, как откладывал всё, что не помещалось в задачу прямо сейчас, — но отложил недалеко, потому что от него тянуло той же дурной неправильностью, что и от машины без номеров, вынырнувшей из ниоткуда.

Дальше было важнее.

Там, где у любого, наверное, стояло бы что-то понятное — родина, народ, откуда ты и чей, — у меня стоял прочерк. Там, где значилось бы, кто я и на что гожусь, — «не определён». А ниже, отдельной строкой, спокойно, без нажима — «аномалия». И когда я скользнул взглядом ниже, по числам, которых не понимал, рядом с каждым из них стоял маленький значок — тот же, что и у слова «аномалия». Будто система виновато предупреждала: я посчитала, но имей в виду — ты считаешься неправильно. Ты не из тех, для кого эти таблицы.

Я смотрел на этот прочерк, на это «не определён», на это «аномалия», — и холодная злость во мне делалась только спокойнее и плотнее. Потому что я понял одну вещь, и это была первая по-настоящему полезная мысль за весь этот страшный день.

Мир, который ведёт счёт, не знает, что со мной делать.

Я не вписан в его ведомость. Я выпал из его таблиц. Кто бы меня сюда ни швырнул, он швырнул меня не таким, как все, не по правилам, мимо граф. А значит, у меня есть то, чего нет ни у кого, — трещина в стене, щель, фора. Я ещё не знал, в чём она и как ею воспользоваться. Но я знал, что воспользуюсь. Я всегда находил, на что встать.

Я поднял руку и посмотрел на кольцо.

Оно было всё там же, на безымянном, — стёртое изнутри до блеска, единственная честная вещь в этом мире. Я повернул его большим пальцем, как поворачивал тысячи раз, дома, за рулём, во сне. И заговорил — не со строчками, не с лунами. С ним. И через него — с теми двоими, что остались по ту сторону белого света.

— В то утро, — сказал я тихо, — я обещал ему, что скоро буду дома.

Голос не дрогнул. Это меня устроило.

— Я наврал. Я сказал «скоро», как говорил тысячу раз, не думая, и это оказалось ложью, потому что я не пришёл и уже не приду тем же, кем выходил. Я обещал отвести его к морю — «честно-честно». И это тоже пока ложь.

Я сжал кулак, и кольцо вдавилось в кожу.

— Но я не знаю слова «никогда». Я не знаю, где я. Не знаю, кто меня сюда дёрнул и зачем. Не знаю, можно ли отсюда вообще выбраться и сколько на это уйдёт — год, десять, вся эта вторая, краденая жизнь. Зато я знаю одно: я выясню. Я стану таким, что никакая стена между мной и домом не выстоит. Я найду способ её проломить — и проломлю, голой рукой, если придётся, как проломил вчера горло той твари. Сколько бы ни ушло.

Я разжал руку.

— Я сказал «скоро» — и это была ложь. Я сделаю эту ложь правдой.

Это была не молитва и не утешение. В этих словах не было тепла. Это была работа, которую я себе назначил, — единственная, какая у меня осталась, и самая важная из всех, что у меня когда-либо были.

Я встал на ноги.

Тело поднялось легко, ровно, послушно — заодно со мной, впервые с того белого света без звука. Раненая рука почти не болела. Две луны бледнели, растворяясь в светлеющем небе, и где-то далеко, как и вчера, перекликались чужие голоса, — но теперь они не пугали меня. Теперь это были просто звуки мира, в котором мне предстояло работать.

Я огляделся, выбирая, куда идти. Где-то здесь должны быть люди — потому что мир, в котором ведут счёт, раздают разряды и метки, не пустует; кто-то ведь всё это придумал и кому-то это нужно. А там, где люди, там и дороги, и знания, и первая ниточка, за которую можно потянуть.

Я выбрал направление — туда, где деревья как будто редели, — и пошёл.

Не оплакивать. Это я уже сделал, всё, до дна, и больше не собирался.

Не искать утешения. Утешения здесь не было и не будет.

Работать.

Глава 6. Первые правила

Я шёл с того бледного рассвета и шёл долго.

Деревья мало-помалу редели, чёрные стволы расступались, и под ногами вместо сплошного мха стали попадаться прогадины, палевые от ровного перламутрового света. Я отмечал про себя, что не устаю так, как устал бы прежний я. Ноги несли ровно, дыхание не сбивалось, и в теле всё так же гудела та чужая сила, которой я больше не боялся. Я начинал к ней приравниваться — как приравниваешься к чужому инструменту: тяжёлый, незнакомый, но, судя по всему, рабочий. А раз я решил работать, надо было разобраться, чем именно я работаю.

Это было привычно. И, если честно, почти спасительно — снова заняться тем, что я всегда умел лучше всего: смотреть, проверять, выводить правила. Дома, когда что-то ломалось, я не хватался за голову, а садился и раскладывал поломку на части. Здесь ломаться было нечему — здесь всё было поломано с самого начала, начиная с того, что я тут оказался. Но привычка осталась. И я цеплялся за неё, как утопающий цепляется за бревно, потому что это было единственное бревно, какое у меня было.

Горе никуда не делось. Оно шло со мной — ровным холодным грузом на самом дне, тем самым, что за ночь затвердело в злость. Просто теперь у него была работа. Каждый шаг был шагом к ним, даже если я понятия не имел, в какую сторону этот шаг делать. И этого пока хватало, чтобы не сесть на землю и не завывать снова.

Первым делом я разобрался со строчками света.

Я уже понял, что они приходят не сами по себе. В первый раз, над той тварью, они вспыхнули от испуга — оттого, что я всем существом вцепился взглядом во врага, желая понять, что он такое. Теперь я попробовал захотеть того же нарочно: сосредоточиться, потянуться вниманием к предмету с тем самым немим вопросом — «что ты?». И над предметом проступали знаки.

Я навёл это на куст с тёмными ягодами у тропы.

> **Тенеягода · безвредна · горька**

Навёл на другой, с виду точно такой же:

> **Дурника · ядовита (плоды, лист)**

Я постоял, глядя на два совершенно одинаковых для меня куста, один из которых убил бы меня к вечеру, а другой просто горчил, — и впервые с того белого света без звука едва не рассмеялся. Сухо, коротко, без всякого веселья. Меня бросили в мир, где меня могут сожрать, отравить и проломить мне голову, — и сунули при входе шпаргалку. Была ли такая у других, я не знал; но мир сам записал меня в «аномалии», в «не определён», и что-то подсказывало, что подсказку эту дали мне одному.

По старой, въевшейся привычке я даже мысленно начал заводить ей название, графу, строчку в воображаемой таблице. Анализ. Когда я подумал это слово ясно, система будто кивнула — над краем зрения коротко мигнуло, подтверждая: да, так это и зовётся.

Я ловил себя на том, что веду в голове таблицу загробного мира, и понимал, что это, наверное, не самый здоровый способ сходить с ума. Но это работало. И я держался за то, что работает.

Правило первое, сказал я себе: смотреть прежде, чем трогать. Всегда.

Я шёл и проверял его на всём подряд. На воде в ручье — система сообщила, что чиста, и я напился, не до конца ей доверяя, но другой воды не было. На грибах, на грузных насекомых размером с кулак, на птице с перепончатыми крыльями, что снялась с ветки при моём приближении. Мир послушно раскрывался передо мной строчка за строчкой, и я складывал из них первую, грубую карту: что здесь живое, что мёртвое, что съедобно, что хочет съесть меня.

А потом я зарвался.

На широкой прогалине, где грелось на ровном свету разом всё — трава, насекомые, юркие зверьки в норах, две птицы, дерево с гнездом, — я подумал: а что, если сразу? Что, если охватить вниманием всю поляну и спросить «что вы?» у всего скопом? И спросил.

Меня будто ударили изнутри по глазам.

Строчки хлынули все вместе, друг сквозь друга, десятками, сотнями, наслаиваясь, не помещаясь, — холодный свет залил всё поле зрения сплошной режущей пеленой, и в висках стрельнуло так, что я зажмурился и осел на колено. Под носом стало мокро и тепло; я провёл рукой — кровь, своя, красная. Несколько секунд я просто стоял на четвереньках, пережидая, пока схлынет, и тихо ругался сквозь зубы — и, как ни странно, чему-то почти радуясь, потому что эта боль была понятная, человеческая, заслуженная по глупости.

Правило второе: по одному. Этот дар — игла, а не ковш: он бьёт в одну точку. Захочешь охватить им всё разом — он ударит по тебе самому. Я запомнил это крепко.

К середине дня я был голоден по-настоящему — тем ясным звериным голодом, какого не знал в прежней жизни ни разу. И когда из подлеска впереди вышло что-то четвероногое, рогатое, размером с косулю, я не стал ждать, пока оно решит, кто из нас добыча.

Я навёл на него Анализ — спокойно, в одно касание, как уже привык, — увидел зверя насквозь, увидел, где у него бьётся жизнь, и пошёл на него.

Это было не как с падальщиком. Тогда меня вело тело, а я только в ужасе цеплялся за него изнутри. Теперь вёл я. Я отмерил силу — ровно столько, сколько нужно, не больше, — и убил быстро и чисто. И в этом не было ни упоения, ни отвращения, ни тошноты, как тогда. Была работа. Зверь дёрнулся и затих, над ним всплыло вежливое «опыт начислен», и меня уже не мучило от этой бухгалтерии. Я принял её к сведению. Так здесь всё и устроено: убил — стал чуть сильнее. Значит, таковы правила. А правила я намеревался использовать до последней буквы.

Огонь дался труднее всего, и провозился я с ним позорно долго, пока не вспомнил, что в одной из строчек у сухого мха стояло «легко воспламеняется». Мясо вышло жёстким и отдавало тинной. Я ел его в чужих сумерках, под двумя восходящими лунами, и думал о том, что ещё совсем недавно по утрам мы с Мирой пили один кофе на двоих, передавая чашку из рук в руки.

Эту мысль я не стал гнать. Я просто положил её рядом, к холодному грузу на дне, — туда, где теперь жило всё, ради чего я готов был стать кем угодно.

На третий день — а я уже считал дни, это тоже стало правилом, маленьким, человеческим, за которое стоило держаться, чтобы не потерять счёт самому себе, — тропа вывела меня на вершину длинного пологого холма. И там я впервые проверил себя на осторожность.

Далеко внизу, в низине, что-то двигалось. Большое. Я не разглядел его толком — только тень между деревьями да то, как от его шагов вздрагивали кроны, — но из старой привычки навёл туда Анализ. И система, всегда такая услужливая, впервые мне отказала. Над тенью в низине проступило не имя, не уровень, а три холодных знака, от которых по спине пробежал холод:

> **??**

Я очень тихо отступил за холм и пошёл другой стороной, длинным крюком, и шёл так, пока та низина не осталась далеко позади. Правило третье — и, может быть, главное: если шпаргалка молчит, беги. То, чего я не могу прочесть, прочтёт меня само.

Тогда же, перематывая на привале повязку, я заметил то, на что в спешке не обращал внимания. Три когтистые борозды на предплечье, ещё вчера сочившиеся, затянулись. Не подсохли — затянулись, новой розовой кожей, как заживает за неделю, а не за три дня. Я смотрел на это и не знал, радоваться или нет. Тело, которое мне дали, чинило себя само, быстро и молча, как чинило всё остальное. Ещё одна строчка в таблицу. Ещё одно «не как у людей».

А ещё через полдня пути, с очередного подъёма, я наконец увидел его.

Сначала — тонкую серую нитку, что поднималась над дальним лесом и таяла в перламутре. Дым. Не лесной, не пожарный — ровный, домашний дым из трубы. А когда я прошёл ещё немного и деревья расступились, под дымом проступили крыши, частокол, тёмные пятна возделанных полей.

Люди.

Я стоял на склоне и смотрел на эту серую нитку дольше, чем стоило, — так же, как в то последнее утро смотрел на спящую Миру. Где-то там были живые, говорящие, такие же, каким когда-то был я. Там были ответы. Там было хоть какое-то начало того длинного пути, в конце которого — дом.

И я пошёл вниз, на дым.

Глава 7. Грейфолл

Лес кончился сразу, будто его обрубил. Только что вокруг стояли чёрные стволы в три обхвата — и вот уже под ногами вспаханное поле, а за полем городок.

Я остановился на опушке и долго смотрел.

После нескольких дней в глуши всё это было по глазам простой, грубой человечностью. Частокол из заострённых брёвен, потемневших от дождей. За ним тесные крыши, крытые дёрном и щепой. Над крышами тянулся тот самый дым, к которому я шёл. У ворот торчала дозорная вышка, и на ней стоял человек. По полю, согнувшись, копались в земле ещё несколько.

И вот тут меня прихватило с неожиданной стороны.

Я ждал, что обрадуюсь. А вместо радости пришла тупая, давящая тоска. Потому что это была обычная жизнь — такая же обычная, как моя ещё неделю назад. Кто-то топил печь. Кто-то полыл грядку. Где-то там, за частоколом, наверняка была женщина, которая утром поцеловала мужа, и ребёнок, который ждал отца к ужину. Целый городок людей, у которых всё это было, — у меня на глазах, в двух шагах, и недосягаемо, как вторая луна. Я смотрел на чужой дым и думал о своём, оставшемся в восьми минутах от дома и в целом мире отсюда.

Я заставил себя оторваться от этой мысли. Мне нужны были эти люди — не их жизнь, а их знания. Первая ниточка.

Я понимал, как выгляжу со стороны. Чужак в драной, чужого кроя одежде выходит пешком и один оттуда, откуда живыми не выходят. Будь я на их месте, я бы тоже не обрадовался. Поэтому я не стал прятаться или красться. Я поднял руки, показывая пустые ладони, и пошёл к воротам открыто, не торопясь.

К моему приходу там собралось уже четверо. Трое мужчин и женщина, все с оружием: копье, два топора, у женщины короткий лук с наложенной стрелой. Одеты грубо, в кожу и некрашеную шерсть. Лица обветренные, жёсткие, в шрамах. Не солдаты — просто люди, привыкшие, что их в любой день могут убить, и готовые убить первыми.

Старший, крапивообразный мужик с седой щетиной, выставил копье мне в грудь и что-то рявкнул.

И тут случилось то, к чему я не был готов.

Я его понял.

Не язык — я никогда не слышал этих слов, в них не было ни одного знакомого корня. Но смысл вошёл мне в голову прямо, минуя уши, так же, как входили строчки света над тварями: «Стой. Ещё шаг — и ляжешь тут».

Я остановился. И, не успев подумать, ответил:

— Я не вооружён. Я не враг.

Слова вышли сами — и вышли не по-русски. Мой рот сложил их чужими, и они прозвучали гладко, привычно, будто я говорил так всю жизнь. Меня продрало холодом сильнее, чем от копья у груди.

Я уже знал этот холод. Так было с телом, которое умело убивать прежде меня. Так было с языком света, который я читал, не учась. А теперь и этот, человеческий язык — он лежал во мне готовым, чужой и при этом мой, и я говорил на нём, не выбирая слов. Тот, кто бросил меня сюда, не поскупился. Дал тело. Дал шпаргалку. Дал язык. Снарядил — и я с каждым часом всё яснее понимал это страшное слово — снарядил, как снаряжают не гостя, а работника, которого пригнали делать дело. Только дела мне никто не назвал.

Думать об этом было некогда. Старший сощурился, копье не опустил.

— Откуда идёшь?

Я мог соврать. Но я ещё не знал здешней географии и наврал бы коряво, а такие люди чуют ложь нутром. И я сказал правду — ту её часть, что была безопасной:

— Из леса. Очнулся там несколько дней назад. Не помню, как попал.

Они переглянулись. Женщина с луком чуть опустила стрелу — не из доверия, а чтобы лучше меня рассмотреть.

Пока они смотрели на меня, я смотрел на них — по-своему. Я навёл Анализ на старшего, тихо, в одно касание, как привык на зверях. И впервые навёл его на человека.

> **Хальд · уровень 11**

Просто имя и число. Никакой пометки, никакого значка неправильности, никаких «???». Обычный человек, каких система знает наперечёт и спокойно укладывает в свои таблицы. Я скользнул взглядом по остальным — четырнадцать, девять, семь. И понял ещё одну важную вещь, важнее многих.

Они были нормой. А я — нет.

Я по-прежнему не знал, что значат мои собственные числа, мне не с чем было их сравнить. Зато теперь стало с чем. И то, как держались эти четверо — настороженно, на расстоянии, готовые ударить, но не спешащие, — говорило яснее всяких цифр: они нутром чуяли, что я не из их ряда. Что человек, вышедший живым из Предела без поклажи, без оружия и без страха в глазах, либо очень удачлив, либо очень опасен. И склонялись ко второму.

Это знание я придержал при себе. Лишнее преимущество не показывают. Это правило работало и в прежней жизни, на переговорах, где ставкой были деньги. Здесь ставкой была моя голова, и тем более не стоило выкладывать козыри на стол.

— Оружия нет, поклажи нет, — сказал Хальд, не столько мне, сколько своим. — А вышел сам. — Он сплюнул в сторону. — Чудеса.

— Может, приманка, — негромко сказала женщина. — Выманивают.

— На приманку не похож, — буркнул один из тех, что с топором. — Приманка не озирается, как этот.

Я и правда озирался — не нарочно, просто не мог иначе. Слишком много всего разом: первые человеческие лица за столько дней, первая речь, первые крыши, печной дым. После пустого леса городок оглушал.

Хальд молчал, разглядывая меня долгую минуту. Потом, видно, решил, что мёртвый я ему ничего не объясню, а живой и под присмотром, может, ещё и пригожусь.

— В Предел соваться у нас умеют только дураки да искатели, — сказал он. — На дурака ты не похож, а искателей я всех в лицо знаю. Стало быть, ты загадка. Загадки я не люблю. — Копьё он наконец опустил, но не убрал. — Пойдёшь со мной. Дёрнешься — положу. Понял?

— Понял.

— И руки держи на виду.

Ворота приоткрылись ровно настолько, чтобы пройти по одному.

Внутри Грейфолл оказался ещё теснее, чем снаружи. Кривые улочки, разъезженная грязь, дома, привалившиеся друг к другу боками. В кузне звенел молот. Где-то блеяла скотина. Пахло дымом, навозом, мокрой кожей и варевом — и от запаха варева у меня свело живот, потому что несколько дней я ел только пережаренное жёсткое мясо, отдающее тинной.

На меня оборачивались. Женщина в дверях прижала к себе ребёнка — мальчишку лет четырёх, чумазого, любопытного, — и я отвёл глаза, потому что смотреть на это было больно. Двое в кожаных куртках, с нашитыми на плечо медными бляхами, проводили меня долгими взглядами и о чём-то заговорили вполголоса. Те самые искатели, понял я. Люди, которые ходят в Предел по своей воле.

Хальд вёл меня посреди улицы, на полшага позади, и его копьё я всё время чувствовал спиной.

— Идём в «Серый грифон», — сказал он. — Там тебя накормят, если есть чем платить, и там сидит та, кто в Грейфолле решает поболе моего. Вот ей всё и расскажешь. А врать ей не советую — себе дороже.

Платить мне было нечем. Но там кормили, и там были люди, которые могли ответить хоть на один из тысячи моих вопросов, — а значит, туда мне и было нужно.

Я шёл на запах варева, под копьём чужого стражника, по грязной улице чужого города, и держал в голове одно: где-то отсюда, от первого человеческого слова, от первой миски и первого ответа, начинается длинная дорога домой. Я не знал ещё ни длины её, ни цены. Я знал только, что пойду по ней до конца.

Глава 8. Серый грифон

«Серый грифон» был длинным низким домом в середине городка, и внутри меня встретило то, чего я не знал уже несколько дней: тепло.

В очаге у дальней стены горел огонь. Тянуло дымом, печёным хлебом и чем-то мясным, тушёным, от чего у меня снова свело живот. Десяток грубых столов, лавки, утоптаный земляной пол. Народу было немного — несколько мужиков над кружками да парочка тех самых, с медными бляхами на плечах, искателей. Все они подняли головы, когда Хальд завёл меня внутрь, и все проводили нас взглядом.

И снова, как у ворот, тепло этого места ударило меня не туда, куда я ждал. Огонь, запах хлеба, негромкий говор, кружки на столах — всё это было таким домашним, таким человеческим, что у меня на секунду перехватило горло. В последний раз я был в тепле и среди людей в то утро, на своей кухне, с чашкой на двоих. Я сглотнул и взял себя в руки. Раскисать было нельзя. Раскисать я буду потом, если будет потом.

За стойкой стояла женщина.

Ей было за пятьдесят. Широкая в плечах, с проседью в забранных назад волосах, с лицом, которое давно отучилось улыбаться попусту. Рукава были закатаны, и на левом предплечье белел длинный старый шрам — ровный, не от ножа в драке, а такой, какой оставляет что-то с когтями. Она оглядела меня снизу доверху одним движением глаз, быстро и без выражения, будто пересчитала деньги в чужом кошельке.

— Хальд, — сказала она, не мне. — Кого приволок?

— Сам не знаю, Бренна. — Стражник переступил с ноги на ногу, и я снова отметил, как меняется его голос: у ворот он рычал, а здесь говорил почти виновато. — Вышел из Предела. Один, без оружия, без поклажи. Говорит, очнулся в лесу несколько дней назад и не помнит как. Я подумал — пусть лучше ты на него глянешь.

— Правильно подумал. — Она кивнула на табурет у ближнего к стойке стола. — Садись. А ты, Хальд, ступай к воротам. Если он меня тут зарежет, я громко крикну.

Хальд хмыкнул, ещё раз глянул на меня — без тепла, но уже без копья в голосе — и вышел. И я отметил это про себя, как отмечал теперь всё: стражник, у которого за плечами своя сила и свой уровень, ушёл по одному её слову, не споря. В Грейфолле она и вправду решала.

Я сел.

Она не торопилась с разговором. Ушла за стойку, погромела там, вернулась и поставила передо мной деревянную миску — тушёное мясо с какими-то кореньями, — и кусок тёмного хлеба, и кружку. Поставила и отошла, будто это само собой разумелось.

— Мне нечем платить, — сказал я.

— Знаю. По тебе видно. — Она оперлась о стойку. — Ешь.

И я ел.

Я старался держаться, есть по-человечески, медленно, как ел всю жизнь, — и не сумел. Несколько дней леса взяли своё. Я опомнился, только когда миска опустела и я ловил ложкой последнее, и поднял голову, и поймал её взгляд. Она смотрела на меня от стойки, скрестив руки, и в этом взгляде не было ни жалости, ни брезгливости — просто внимание, ровное и трезвое.

— Спасибо, — сказал я. И сам услышал, что голос вышел хриплым.

Это была первая еда, которую мне здесь дали. Первое, что в этом мире сделали для меня просто так, ничего не прося взамен. После леса, после той твари, после холодной ночи под двумя лунами, после счёта, который кто-то вёл моим убийствам, — простая миска тушёнки от чужой жёсткой женщины едва не доконала меня сильнее всего прочего. Я опустил глаза в пустую миску и пару секунд просто дышал.

— Сядь ровно и слушай, — сказала Бренна, подходя и опускаясь на лавку напротив. — Я задам тебе вопросы. Ты ответишь как сможешь. Но запомни одно: на фронтире у каждого второго за спиной то, о чём он молчит. Мне всё равно, кем ты был. Мне важно, кем ты будешь в моём городе. Принесёшь беду — лучше доешь и уходи прямо сейчас, пока сыт. Понял?

— Понял.

— Тогда первое. Ты сказал Хальду, что не помнишь, как попал в лес. Это правда?

Я подумал секунду. С ней лгать не стоило — это я уже видел.

— Правда, — сказал я. — Я помню свою прежнюю жизнь. Помню, как она кончилась. А дальше пусто — и я очнулся в лесу. Что было между тем и этим, не знаю.

Она прищурилась. Лжи не поймала — потому что лжи и не было, — но и не успокоилась.

— «Как она кончилась», — повторила она тихо. — Чудно ты говоришь о себе, будто со стороны. — Она не стала тянуть за эту нитку, отложила, как отложил бы я. — Ладно. Второе. Ты вышел из Предела цел. Туда умеют ходить только искатели, и то не все возвращаются. А ты не искатель — бляхи на тебе нет, и держишься иначе. Так кто же ты?

Вот тут начиналось трудное.

— Я и сам пытаюсь понять, — сказал я. И это снова было правдой, может быть, самой честной за весь разговор.

Бренна долго смотрела на меня. Потом откинулась назад, и впервые что-то в её лице сдвинулось — не смягчилось, а будто устало.

— Знаешь, — сказала она, — я двадцать лет ходила в Предел. Своими ногами. Этот вот шрам, — она повела левой рукой, — оттуда. И повидала такое, чего трезвому человеку лучше не видеть. Люди из Предела выходят разные. Иногда не теми, кем заходили. Иногда не помня, кем заходили. Так что, может, ты и не врёшь. — Она помолчала. — А может, ты что похуже. Поживём — увидим.

Я молчал. Спорить было не с чем, а оправдываться — глупо.

— Где я? — спросил я вместо этого. — Хоть это скажи. Как называется земля под ногами?

Она усмехнулась — коротко, без веселья.

— Земля как земля. Это Грейфолл, последний город перед Диким Пределом. Дальше за частоколом — только лес, твари да смерть, и дай тебе боги больше туда не соваться. — Она кивнула куда-то за стену. — А если про большой мир — то ближайший настоящий город отсюда три недели пути. Корвенгард. Там сидят те, кто поумнее меня, там грамоты, законы, всякая учёная братия. Будут у тебя вопросы, на какие у трактирщицы с фронтира ответа нет, — тебе туда. Если доживёшь.

Корвенгард. Я отложил это слово к остальным — в ту же воображаемую таблицу, где уже лежали Анализ, три правила и моё собственное «аномалия». Где-то там, в трёх неделях пути, начинались настоящие ответы. А значит, начиналась и дорога.

— Допустим, я хочу остаться, — сказал я. — Ненадолго. Встать на ноги. У меня нет ни имени, которое тут что-то значит, ни монеты, ни ремесла. Что делает в Грейфолле такой, как я?

— Такой, как ты? — Бренна снова оглядела меня, теперь иначе — прикидывая, взвешивая. — Без роду, без денег, зато вышел живым из Предела и не трясётся. — Она мотнула головой в сторону двоих с бляхами в углу. — Идёт к ним. В Гильдию искателей. Им всё равно, кто ты был и откуда. Им важно одно: можешь ли ты спуститься в дыру, полную тварей, убить, что нужно, и вернуться. Можешь — будет тебе и монета, и крыша, и место среди людей. Не можешь — Предел тебя приберёт, и никто даже имени не спросит.

Спуститься в дыру, полную тварей. Убить. Вернуться. И стать с каждым разом чуть сильнее — я уже знал, как это здесь работает, я почувствовал это над первой же убитой тварью.

Это было ровно то, что мне нужно. Дорога к силе — той силе, которой мне однажды хватит, чтобы проломить стену между мной и домом, — начиналась в двух шагах от меня, в людях с медными бляхами на плечах.

— Где их найти? — спросил я.

Бренна посмотрела на меня так, будто я подтвердил какую-то её невесёлую догадку.

— Контора через площадь. Откроется поутру. — Она поднялась, забрала пустую миску. — А сегодня переночуешь в сарае за домом, на сене. Утром отработаешь — наколешь дров. И вот что, чужак. — Она задержалась, глядя на меня сверху вниз. — Имя-то у тебя есть?

— Адам, — сказал я.

Имя моё. Настоящее, оттуда, из дома. Единственное, кроме кольца, что я принёс сюда целым.

— Адам, — повторила она, будто пробуя слово на вес. — Ну, спи, Адам. Завтра поглядим, кем ты будешь.

Глава 9. Гильдия искателей

Спал я в сарае, на сене, под одной попоной, и проспал так крепко, как не спал давно. Тело, которое держало тепло само, не дало мне замёрзнуть, и впервые с пробуждения в лесу я просто отключился, без снов, без леса, без белого света. Это было почти счастье. Утром я не сразу вспомнил, где я, и пару секунд лежал, по привычке ожидая услышать, как возится в гостинной Лео. А потом вспомнил. И встал.

За миску и за крышу надо было платить, и я взялся за дрова всерьёз — отчасти из честности, отчасти потому, что хотел проверить себя на простом, понятном деле, какого в моей прежней жизни было сколько угодно.

Топор у Бренны был старый, тяжёлый, с шербатым лезвием. Я поставил первое полено на колоду, примерился и ударил вполсилы. Лезвие прошло сквозь дерево, будто это была не дубовая чурка, а варёная репа, и засело в колоде под ней.

Я замер. Огляделся. Двор был пуст.

Дальше я рубил осторожно. Отмерял силу так же, как отмерял её на той косуле в лесу, — ровно столько, сколько вложил бы крепкий мужик, не больше. Поленица росла быстро, но не пугающе быстро. Это было новое правило, четвёртое: здесь меня держат за чужака и приглядывают, а чужаку, который походя разваливает колоду в труху, станут приглядывать совсем иначе. Силу надо прятать, пока я не пойму, как тут всё устроено и кому здесь можно доверять. Пока — никому.

Бренна вышла на крыльцо, когда я заканчивал. Посмотрела на ровный, высокий штабель, потом на меня, потом снова на штабель.

— На полдня работы, — сказала она. — А ты управился до завтрака.

— Привык не тянуть, — ответил я.

Она хмыкнула. Не поверила, конечно, — но и допытываться не стала. Я уже начал понимать, что в этом и есть её особый дар: она видела куда больше, чем говорила, и молчала ровно столько, сколько нужно.

— Контора открыта, — сказала она, кивнув в сторону площади. — Иди, Адам. И постарайся не сдохнуть в первую же неделю. Сено я тебе постелила хорошее, обидно будет.

Контора Гильдии стояла через площадь — дом покрепче прочих, приземистый, с обитой железом дверью и вывеской, на которой кто-то грубо вырезал не то меч, не то ключ. Внутри пахло чернилами, воском и старой кровью.

Первое, что бросилось в глаза, — доска во всю стену, сплошь увешанная листками. Я подошёл и стал читать.

Гильдия торговала опасностью. Кто-то платил — Гильдия посылала людей. Одни листки звали выбить зверьё, повадившееся на поля. Другие — принести голову или клык какой-нибудь твари. Но больше всего было третьих, и в них раз за разом повторялось слово, которого я не знал: подземелье. «Расчистить подземелье у старого моста». «Подземелье у Волчьей балки — нужны трое». Я смотрел на это слово и понимал, что не понимаю его. Меня бросили в этот мир и дали мне его язык — а смысла не дали. Язык был, а мира за языком я не знал.

Рядом с каждым листком стояла пометка — какого разряда нужны люди. Разряды считались по металлу: медь — низший, дальше бронза, серебро, золото. Медных листков было больше всего. Серебряных — всего два, и оба про Предел. Сколько здесь стоит монета, я ещё не знал, но цифры под этими двумя были в несколько раз крупнее, чем под остальными, — а так много платят лишь за то, откуда возвращаются не все.

И вот что я понял, читая эту доску, и что оказалось важнее всех контрактов на ней.

Нигде не было ни единой цифры про самих искателей. Ни уровней, ни сил — ничего из того, что я видел над каждой тварью в лесу, над каждым кустом, над стражником у ворот.

Тут людей мерили разрядом, делом и слухом. Они не видели того, что видел я. Никто из них не видел.

Я мог взглянуть на любого в этой комнате и прочесть его силу так же ясно, как читал тварей в лесу, — а он бы об этом и не догадался. Здесь так не умел никто. Я ещё не понимал, как этим распорядиться, — но уже понимал, что распоряджусь. В прежней жизни меня кормило умение знать о собеседнике чуть больше, чем он сам о себе думал. Похоже, это умение перебралось со мной и сюда — только теперь оно стало куда острее.

— Новенький.

Голос был ровный, негромкий. Я обернулся.

За конторкой в углу сидел человек, которого я сперва не заметил — и который, судя по всему, разглядывал меня всё это время. Худошавый, аккуратный, в чистом — а чистая одежда среди здешней грубой кожи и грязи смотрелась почти вызывающе. Лет сорока. Тонкие пальцы перебирали бумаги, на одном чернело пятно. Глаза умные и холодные, как у человека, который привык считать в уме чужую выгоду быстрее, чем её считает её хозяин.

Я навёл на него Анализ, тихо.

> **Кесс · уровень 16**

Выше всех, кого я тут пока видел. И ни тени пометки. Обычный — но самый сильный из обычных в этом доме.

— Магистр Кесс, — представился он, не вставая. — Я веду здесь дела Гильдии. А ты, надо думать, тот самый человек из Предела, о котором мне с утра прожужжали все уши. — Он отложил перо. — Садись. Расскажи о себе.

— Рассказывать почти нечего, — сказал я, садясь напротив. — Имени, которое тут что-то значит, у меня нет. Прошлого, которое можно проверить, — тоже. Я хочу записаться в Гильдию.

Кесс едва заметно улыбнулся — одними губами.

— Прямо. Это я ценю, на фронтире многие любят ходить кругами. — Он сложил пальцы домиком. — Но пойми и меня. Ко мне приходит человек ниоткуда, без поручителя, без истории, вышедший живым оттуда, откуда выходят редко. Я бы дорого дал, чтобы узнать, как у тебя это получилось. — Он сделал паузу, оставляя мне место ответить.

Я не ответил. Просто смотрел на него равно.

— Не хочешь говорить, — кивнул он, ничуть не задетый. — Что ж. Гильдия не суд, прошлого мы не требуем. Нам нужны те, кто спускается и возвращается с добычей; кем они были раньше — дело десятое. — Он подвинул ко мне чистый листок и перо. — Но и в герои я тебя сразу не запишу. Запишу как есть: неиспытанным. Без разряда. Медь получишь, если выйдешь живым из первого подземелья и принесёшь доказательство. Не выйдешь — значит, я в тебе ошибся, и спрашивать будет не с кого.

Меня это устраивало. Неиспытанный, без разряда, без внимания — лучшего прикрытия не придумаешь. Тихо подняться с самого низа, не показывая, что я такое, пока не стану достаточно силён, чтобы прятаться было уже незачем.

Но прежде, чем взять перо, я задал вопрос, что мучил меня от самой доски.

— Объясни мне одно, магистр. Что такое подземелье?

Перо в его пальцах замерло.

Кесс посмотрел на меня долгим, очень внимательным взглядом, и я понял, что этим вопросом сказал о себе больше, чем всем молчанием до него. Человек, который не знает, что такое подземелье, в этих краях не родится. Такого просто не бывает.

— Вот ты, значит, откуда, — тихо произнёс он. Откуда — он не уточнил, а я не понял. Помолчав, он заговорил медленно, как говорят с ребёнком или с чужестранцем из-за края света:

— Подземелье — это не пещера и не нора. Это болячка на теле земли. Место, где мир будто прорвало изнутри. Снаружи — провал, ход под землю, а внутри всё неправильно: коридоры, которых не может быть, твари, которых не родит ни один зверь. У каждого такого места есть сердце. Пока оно бьётся, подземелье растёт и время от времени выплёвывает тварей наружу — на дороги, на поля, на вот такие городки. Искатели спускаются, идут к сердцу, гасят его и забирают то ценное, что внутри. Тогда дыра затихает. — Он кивнул на доску. — Этим мы кормимся. И этим же тут умираем. А в Диком Пределе таких болячек больше, чем где-либо на свете, и никто не знает почему.

Тут моя старая привычка к расчёту взяла своё, и я задал то, что напрашивалось само собой.

— Если их тут больше всего, — сказал я, — то почему Грейфолл — захудалая деревушка, а не богатый город? Где много добычи, туда обычно стекаются люди. А тут пусто.

Кесс посмотрел на меня уже иначе — будто я неожиданно сказал что-то стоящее.

— А ты не дурак, — медленно проговорил он. — Купеческая жилка, сразу видно. Мыслишь верно — да только всё наоборот. Туда, где подземелья сулят прибыль, и впрямь стекаются. Только это не здесь. Это в глубине, у больших городов, под тем же Корвенгардом: там дыры ручные, мелкие, давно изученные, и риск там стоит монеты. Туда едут охотно и на том богатеют. — Он качнул головой. — А Предел — не прибыль. Предел — это рана. Здешние подземелья рождаются быстрее, чем мы успеваем их гасить, и убивают больше, чем платят. Сюда не за богатством идут. Сюда идут те, кому больше некуда: должники, беглые, отчаявшиеся да упрямцы вроде Бренны, которым бросить эту землю жалче, чем себя. Грейфолл не растёт, парень. Грейфолл держится. И, по правде, понемногу проигрывает — из города уходят, а не в него. — Он невесело усмехнулся. — Так что добро пожаловать. Ты как раз из тех, кому больше некуда.

Он снова взял перо и протянул мне.

— Ещё вопросы? Или ты и про то спросишь, с какой стороны встаёт солнце?

— Нет, — сказал я и поставил на листке своё имя. Чужими буквами, которые рука вывела сама, — Адам.

Кесс посмотрел на подпись, потом на меня, и в его холодных глазах мелькнуло что-то, чего я не смог прочесть никаким Анализом, — расчёт, прикидка, интерес. Он смотрел на меня так, как я в прежней жизни смотрел на недооценённую сделку.

— Одного я тебя в дыру не пущу, — сказал он, отложив листок. — Зелёный да в одиночку — это не отвага, это убыток. Гильдия не любит хоронить вложения в первый же день. — Он повернулся к двери в глубине конторы и повысил голос: — Дорн! Поди сюда. Есть для тебя новенький.

За дверью что-то с грохотом упало и недовольно заворчало.

— Дорн тебя посмотрит, — сказал мне Кесс, снова берясь за перо, будто я уже перестал его занимать. — Если не зарежет с досады — считай, тебе повезло.

Глава 10. Дорн

За дверью в глубине конторы что-то с грохотом упало, потом голос — низкий, сиплый — помянул недобрым словом чью-то мать, и в низкий проём, пригнувшись, шагнул человек.

Я видел уже немало местных — стражу у ворот, мужиков в таверне, двоих искателей с медными бляхами. Все они были людьми бывалыми, жёсткими, привыкшими к опасной жизни. Но только сейчас, глядя на того, кто вышел из задней двери, я впервые по-настоящему понял, что значит слово «искатель».

Он был большой. Не высокий даже — в плечах. Когда-то, видно, был ещё больше, но годы стянули с него часть мяса, и теперь он напоминал старого вола, который ещё силен, но уже знает счёт своим зимам. Седая борода, плохо подстриженная, лезла во все стороны. Левое ухо было наполовину откушено — не порвано, а именно откушено, аккуратным полукругом, будто кто-то взял и отъел. На правой руке не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного, — и эту руку он давно перестал прятать. Лицо всё было в мелких белых рубцах, как старая разделочная доска. Он припадал на левую ногу — не сильно, но при каждом шаге чуть проседал, и видно было, что это с ним навсегда.

От него пахло кожей, железом и дешёвой брагой.

Я навёл на него Анализ — тихо, в одно касание, как уже привык.

> **Дорн · уровень 34**

Я задержал взгляд на этом числе дольше, чем стоило.

Тридцать четыре. Стражник у ворот был одиннадцатый. Кесс — шестнадцатый, и я считал его самым сильным в этом доме. А этот хромой старик с откушенным ухом был вдвое выше их обоих. Я ещё не знал толком, что стоит за этими числами, но уже понимал, как они растут — медленно, по одному, через каждую убитую тварь, через кровь и страх. Чтобы дойти до тридцати четырёх, надо было спускаться в эти «болячки на теле земли» очень, очень много раз. И очень много раз вернуться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.